

A portrait of Igor Severyanin, a man with dark, wavy hair, wearing a dark suit, white shirt, and a light blue bow tie. The background is a soft, cloudy sky.

*“Изысканность,
это то, что мы
потеряли навеки
19 июля 1914 года!..
Вернее: 25 октября
1917 г.”*

Игорь Северянин

Игорь Северянин МОЯ РОССИЯ

РЕКВИЕМ ПО СЕРЕБРЯНОМУ ВЕКУ

Игорь Васильевич Северянин

Моя Россия. Реквием по Серебряному веку

Серия «Кто мы? (Алгоритм)»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=74461781

*Моя Россия. Реквием по Серебряному веку / И. Северянин: Родина;
Москва; 2026*

ISBN 978-5-00269-500-3

Аннотация

«Моя безбожная Россия, священная моя страна!.. Моя ползучая Россия, крылатая моя страна!» – писал Игорь Северянин, один из самых известных и эпатажных поэтов Серебряного века. В своих статьях, очерках и эссе, собранных в данной книге, он рассказывает о многих поэтах и писателях Серебряного века, разбирает их творчество, приводит неожиданные подробности из жизни.

Эти воспоминания Северянина стали своеобразным реквиемом по ушедшей эпохе, которую он считал одной из лучших в культурной истории России.

Содержание

Пролог	5
Осиянные	7
Образцовые основы	7
Встречи с Брюсовым	15
«Беспечно путь свершая...»	25
Салон Сологуба	30
Сологуб в Эстляндии	42
Эстляндские триолеты Сологуба	54
Памяти Ф. Сологуба	65
Конец ознакомительного фрагмента.	68

Игорь Северянин
Моя Россия. Реквием
по Серебряному веку

© ООО «Издательство Родина», 2026.

Пролог

Моя безбожная Россия,
Священная моя страна!
Ее равнины снеговые,
Ее цыгане кочевые, —
Ах, им ли радость не дана?
Ее порывы огневые,
Ее мечты передовые,
Ее писатели живые,
Постигшие ее до дна!
Ее разбойники святые,
Ее полеты голубые
И наше солнце и луна!
И эти земли неземные,
И эти бунты удалые,
И вся их, вся их глубина!
И соловьи ее ночные,
И ночи пламенно-ледяные,
И браги древние хмельные,
И кубки, полные вина!
И тройки бешено степные,
И эти спицы расписные,
И эти сбруи золотые,
И крыльчатые пристяжные,
Их шей лебяжья крутизна!

И наши бабы избяные,
И сарафаны их цветные,
И голоса девиц грудные,
Такие русские, родные,
И молодые, как весна,
И разливные, как волна,
И песни, песни разрывные,
Какими наша грудь полна,
И вся она, и вся она —
Моя ползучая Россия,
Крылатая моя страна!

Осиянные

Образцовые основы (творческая автобиография)

1

Мне не было еще девяти лет, когда, живя в Петербурге, я стал писать стихи. Отлично помню первое свое стихотворение, включенное мною как курьез в приготовленный для полного собрания сочинений – восьмой – том детских и юношеских моих произведений – «Ручьи в лилиях»:

Вот и звезда золотая
Вышла на небо сиять.
Звездочка верно не знает,
Что ей недолго блистать.

Так же и девица красна:
Выйдет на волю гулять.
Вдруг молодец подъезжает —
И воли ее не видать.

Стихотворение хотя и бездарное на мой взгляд, — я подчеркиваю *на мой*, так как *на иной* — оно может и теперь показаться далеко не таковым: увы, я слишком хорошо изучил вкусы и компетенцию в искусстве рядового читателя, — однако написано с соблюдением всех «лучших» традиций поэтического произведения: здесь вы найдете и высокопоэтические слова, как например, «звезда» и «дева», да еще «красна», и размер «общепринятый и гармоничный»... для слуха обывателя, и такие «гладкие», — не пропустите, пожалуйста, уважаемый корректор, буквы «л», — рифмы, как «сиять» — «блистать» — «гулять» — «видать» и, — что самое главное, — конечно, в этом «образцовом» произведении имеется столь излюбленное классическими поэтами *сопоставление*, в данном случае в виде «звезды» и «девы», т. е. дева поступает, как звезда... Все вышеперечисленные «достоинства» разобранного стихотворения дают право критику, выражающему вкусы обывателя, причислить его, — стихотворение, а не обывателя, а, если угодно, и обывателя, — к разряду классических... произведений, на мой же взгляд — идиотств...

Подобные этим стихи я писал, к сожалению, достаточно долго, восхваляя в них «солнце золотое», «синие моря» и «чарующие грезы», и происходило это главным образом оттого, что я зачитывался образцовыми поэтами, *не умея их читать*...



Игорь Северянин, конец 1900-х – начало 1910-х годов.

Игорь Северянин (Лотарёв) родился в Петербурге 4 (16) мая 1887 года в семье капитана Василия Петровича Лотарёва. Мать, Наталья Степановна Лотарёва, урождённая Шенишина, был в родстве с Афанасием Фетом (Шенишиным).

Образование Игорь Лотарёв получил в Череповецком реальном училище. Накануне Русско-японской войны появились первые публикации Лотарёва в периодических изданиях за подписью «Граф Евграф д'Аксанграф».

Значительно ранее этого времени меня стали усиленно водить в образцовую Мариинскую оперу, где Шаляпин был тогда просто басом казенной сцены, выступал в «Рогнеде» и «Игоре», и об его участии еще никого не оповещали жирным шрифтом. Из других артистов выступали тогда Стравинский, Славина, Долина, Куза, чета Фигнеров, Карякин, Бзуль, Фриде, Яковлев, Чернов и др.

Благодаря чтению и слушанию всего этого *образцового*, в особенности же благодаря оперной музыке, произведшей на меня сразу же громадное впечатление и зачаровавшей ребенка, мое творчество стало развиваться на двух основных принципах: классическая банальность и мелодическая музыкальность... От первого я стал излечиваться в 1909–10 гг., от второго же не могу, кажется, избавиться и теперь: слишком до сей поры, несмотря на всю ее сценическую «вампучность», люблю я оперу, будь то старая итальянская Доницет-

ти или Беллини, или же последние завоевания Игоря Стравинского и Сергея Прокофьева, моих громоимянных соотечественников...

Да, я люблю композиторов самых различных: и неврастеническую музыку Чайковского, и изысканнейшую эпичность Римского-Корсакова, и божественную торжественность Вагнера, и поэтическую грацию Амбруаза Тома, и волнистость Леонкавалло, и нервное кружево Масснэ, и жуткий фатализм Пуччини, и бриллиантовую веселость Россини, и глубокую сложность Мейербера, и – сколько могло бы быть этих «и»!

Бывая постоянно в Мариинском театре, в Большом зале консерватории у Церетелли и Дракулли, в Малом (Суворинском) театре у Гвиди, в Народном доме и в Музыкальной драме, слушая каждую оперу по несколько раз, я в конце концов достиг такого совершенства, что, не раскрывая программы, легко узнавал исполнителей *по голосам*. В особенности часто, почти ежедневно, посещал я оперу в сезоны 1905–07 гг. При мне делали себе имена такие величины, как Л. Я. Липковская и М. Н. Кузнецова-Масснэ (тогда еще Бенуа), явила свой изумительный промельк Монска, выступали Джемма Беллинчиони, Ливия Берленди, Мария Гай, Мария Гальвани, Олимпия Боронат, Зигрид Арнольдсон, Баттистини, Руффо, Ансельми, Наварини, допевали Зембрих и Кавальери. Одного Собинова слышал я не менее сорока раз. Удивительно ли, что стихи мои стали музыкальными, и сам

я читаю речитативом, тем более, что с детских лет я читал уже нараспев, и стихи мои всегда были склонны к мелодии?

2

С 1896 г. до весны 1903 г. я провел преимущественно в Новгородской губ<ернии>, живя в усадьбе Сойвола, расположенной в 30 верстах от г. Череповца, затем уехал с отцом в Порт-Дальний на Квантуне, вернулся с востока 31 дек<абря> 1903 г. в Петербург и начал посылать по различным редакциям свои опыты, откуда они, в большинстве случаев, возвращались мне регулярно. Отказы свои редакторы мотивировали то «недостатком места», то советовали обратиться в другой журнал, находя их «для себя неподходящими», чаще же всего возвращали вовсе без объяснения причины. Вл. Г. Короленко нашел «Завет» «изысканным и вычурным», Светлов («Нива») возвратил «Весенний день...» Продолжалось это приблизительно до 1910 г., когда я прекратил свои рассылки окончательно, убедившись в невозможности попасть без протекции куда-либо в серьезный журнал, доведенный до бешенства существовавшими обычаями, редакционной «кружковщиной» и «кумовством».

За эти годы мне «посчастливилось» напечататься только в немногих изданиях. Одна «добрая знакомая» моей «добррой знакомой», бывшая «доброй знакомой» редактора солдатского журнала «Досуг и дело», передала ему (ген<ералу>

Зыкову) мое стихотворение «Гибель „Рюрика“», которое и было помещено 1 февраля 1905 г. во втором номере (февральском) этого журнала под моей фамилией Игорь Лотарев. Однако, гонорара мне не дали и даже не прислали книжки с моим стихотворением.

В те годы печатался я еще в «Колокольчиках» (псевдонимы: Игла, Граф Евграф, Д'Аксанграф), «Газетчике», «За жизнь – жизнь» (г. Бобров, Воронежской губ<ернии>), «Сибирских отголосках» (Томск) и др. и – везде бесплатно. В то же время я стал издавать свои стихи отдельными брошюрами, рассылая их по редакциям – «для отзыва». Но отзывов не было... Одна из этих книжонок подалась как-то на глаза Н. Лухмановой, бывшей в то время на театре военных действий с Японией. 200 экз. «Подвига „Новика“» я послал для чтения раненым солдатам. Лухманова поблагодарила юного автора посредством «Петербургской газеты», чем доставила ему большое удовлетворение...

В 1908 г. промелькнули первые заметки о брошюрках. Было их немного, и критика в них стала меня слегка поругивать. Но когда в 1909 г. Ив. Наживин свез мою брошюрку «Интуитивные краски» в Ясную Поляну и прочитал ее Льву Толстому, разразившемуся потоком возмущения по поводу явно иронической «Хабанеры II», об этом мгновенно всех оповестили московские газетчики во главе с С. Яблоновским, после чего всероссийская пресса подняла вой и дикое улюлюканье, чем и сделала меня сразу известным на всю

страну!.. С тех пор каждая моя новая брошюра тщательно комментировалась критикой на все лады, и с легкой руки Толстого, хвалившего жалкого Ратгауза в эпоху Фофанова, меня стали бранить все, кому не было лень. Журналы стали печатать охотно мои стихи, устроители благотворительных вечеров усиленно приглашали принять в них, – в вечерах, а, может быть, и в благотворителях, – участие...

Я поместил свои стихи более чем в сорока журналах и газетах и приблизительно столько же раз выступал в Университете, в женском Медиц<инском> институте, на Высших женских курсах у бестужевок, в Психо-неврол<огическом> инсти<туте>, в Лесной гимназии, в театре «Комедия», в залах: Городской думы, Тенишевском, Екатерининском, фон-Дервиза, Петровского уч<илища>, Благородного собрания, Заславского, общества «Труд и культура», в «Кружке друзей театра», в зале лечебницы доктора Камеразы, в Соляном городке, в «Бродячей собаке», в конференц-зале Академии художеств, в «Алатаре» (Москва) и др. и др.

В 1913 г. вышел в свет первый том моих стихов «Громокипящий кубок», снабженный предисловием Сологуба, в московском издательстве «Гриф», и в этом же году я стал делать собственные *поэзоконцерты*. В том же году я совершил совместно с Сологубом и Чеботаревской первое турне по России, начатое в Минске и законченное в Кутаиси.

Встречи с Брюсовым

1

Осенью 1911 года – это было в Петербурге – совершенно неожиданно, ибо я даже знаком с Брюсовым не был, я получил от него, жившего постоянно в Москве, чрезвычайно знаменательное письмо и целую кипу книг: три тома «Путей и перепутий», повесть «Огненный ангел» и переводы из Верлена. На первом томе стихов была надпись: «Игорю Северянину в знак любви к его поэзии. Валерий Брюсов».

«Не знаю, любите ли вы мои стихи, – писал он, – но ваши мне положительно нравятся. Все мы подражаем друг другу: молодые старикам и старики молодежи, и это вполне естественно». В заключение он просил меня выслать ему все брошюры с моими стихами, т. к. он нигде не мог их приобрести. И не удивительно: брошюры мои, начиная с 1904 г. по 1912 г. включительно, выходили всего в ста экземплярах, и только две из тридцати пяти вышли: в двухстах – одна и в трехстах экземплярах другая. В письме ко мне Брюсова и в присылке им своих книг таилось для меня нечто чудесное, сказочному сну подобное: юному, начинающему, почти никому не известному поэту пишет совершенно исключительное по любезности письмо и шлет свои книги поэт, достиг-

ший вершины славы, светило модернизма, общепризнанный мэтр, как сказал о нем как-то в одном из своих стихотворений Сергей Соловьев, – «великолепный Брюсов»! Очень обрадованный и гордый его обращением ко мне, я послал нашедшиеся у меня брошюрки и написал в ответ, что человек, создавший в поэзии эру, не может быть бездарным, что стихи его мне, в свою очередь, тоже не могут не нравиться, что ассонансы его волнующи и остры, и прочее.

Вскоре я получил от него первое послание в стихах, начинавшееся так: «Строя струны лиры клирной, братьев ты собрал на брань». В этих стихах он намекал на провозглашенный мною в ту пору эго-футуризм. Я ответил ему стихами, начинавшимися: «Король на плахе. Королевство – уже республика». Под королем я подразумевал только что скончавшегося – 17 мая 1911 г. – К. М. Фофанова. На одной из брошюрок я сделал такую надпись: «Господину Президенту республики „Поэзия“ изнеможенный наследник сожженного короля».

С этих пор у нас с Брюсовым завязалась переписка, продолжавшаяся до первых месяцев 1914 года, когда появилась его заметка в «Русской мысли» о моей второй книге стихов – «Златолире». Но об этом в свое время. Как-то издатель «Петербургского глашатая» И. В. Игнатьев, приступая к набору альманаха «Орлы над пропастью», попросил меня написать Брюсову и предложить ему сотрудничество. Я исполнил просьбу Игнатьева, незамедлительно получив «Сонет-acro-

стих Игорю Северянину»: «И ты стремишься в высь, где солнце вечно». Оба стихотворения Брюсова, ко мне обращенные, вошли впоследствии в его сборник «Семь цветов радуги».

2

Однажды зимой я только что зажег лампу, как кто-то позвонил к нам. «Брюсов», – дoloжила прислуга. Взволнованный до глубины души этим новым проявлением с его стороны ко мне исключительного опять-таки внимания, я поспешил встретить его. Быстро скинув меховую шубу и сбросив калоши, он вошел в мою комнату, служившую мне в то время одновременно и спальней, и кабинетом. Разговор наш длился около часа. Он настойчиво советовал мне подготовить к печати первый большой сборник стихов, выбрав их из моих бесчисленных брошюр.

– Это совершенно необходимо, – говорил он. – На что можно рассчитывать при тираже в сто экземпляров, при объеме в 12–20 страниц? Да вдобавок, как вы сообщаете, брошюры ваши почти целиком расходятся по редакциям «для отзыва», и в продажу поступает, быть может, одна четверть издания.

Кстати будет заметить, что как раз в описываемое мною время ко мне стали являться артельщики то от Вольфа, то от Карбасникова, прося продать им на наличные безо вся-

кой комиссии то ту, то другую брошюру. «Публика требует», – поясняли они. Они охотно платили мне обозначенную печатно на обложке цену: по рублю за... четыре страницы брошюры «Эпилог эго-футуризма»! Уже прощаясь, Брюсов предложил мне выступить со стихами в Московском литературно-художественном кружке, где он состоял директором. Кроме того, он просил меня прочесть там же доклад об эго-фут<уризме>. От последнего я мягко уклонился, стихи же обещал прочесть. Мы условились, что он напишет мне, когда я должен буду приехать в Москву.

3

Получив от Брюсова письменное приглашение деньги на дорогу, я поехал в Москву. Переодевшись в гостинице, я, как было уловлено, отправился к нему на Первую Мещанскую ул. 32. У него я застал профессора С. А. Венгерова, ныне уже тоже умершего. Валерий Яковлевич познакомил меня с Иоанной Матвеевной, своей женой, и мы прошли сначала в кабинет, очень просторный, все стены которого были обставлены книжными полками. Бросалась в глаза пустынность и предельная простота обстановки. На стене висел портрет хозяина изумительной работы Врубеля. Сначала разговор шел о литературе вообще, затем он перешел на предстоящее мое московское выступление «Я очень заинтересован вашим дебютом, – улыбнулся В. Я., – и хочу, чтобы он прошел блестя-

ще. Не забудьте, что Москва капризна: часто то, что нравится и признано в Петербурге, здесь не имеет никакого успеха. В особенности это касается театра. Впрочем, это старая история, и вы, думается, неоднократно сами слышали об этом антагонизме. Главное, на что я считаю необходимым обратить ваше внимание, это чисто русское произношение слов иностранных: везде э обратное читается как е простое. Например, сонэт произносите как сонет. Не улыбайтесь, не улыбайтесь, – поспешно заметил он, улыбкой отвечая на мою улыбку. – Здесь это очень много значит, уверяю вас».

Мне не хотелось обидеть его, я ему был признателен за дружеское предостережение, но все же совет его я отклонил довольно решительно. И мне не пришлось жалеть об этом...

– Читали ли вы когда-нибудь стихи Ал. Добролюбова? – спросил меня В. Я. – Ведь это был истый поэт. К сожалению, его мало знают. – И взяв с полки небольшую, скромно изданную книжку, он прочел нам с Венгеровым два-три любимых своих стиха. «Ну, как вам нравится?» – настойчиво спрашивал он. «Я не причисляю себя к поклонникам его творчества, – сдержанно возразил я, – я нахожу судьбу автора гораздо интереснее и значительнее его произведений». Разговаривая, мы перешли в столовую, где Иоанна Матвеевна разливала чай. Брюсов предложил нам джинджера, и мы пили его, закусывая бисквитом. Приветливое лицо некрасивой и молчаливой жены Брюсова дышало уютом и радушьем. Я встретил ее всего дважды: в этот вечер и спустя года два

на своем вечере в Политехническом музее, когда она зашла ко мне в лекторскую передать привет от В. Я. и приглашение заехать к ним. К сожалению, этому мне что-то помешало.

4

Мой дебют в «Эстетике» при лит<ературно>-худ<ожественном> кружке, состоявшийся на другой день после описанного мною визита к Брюсову, собрал много избранной публики, среди которой вспоминаю художников Гончарову и Ларионову, проф. Венгерова и др. Я прочел около тридцати стихотворений и был хорошо принят. После меня выступил Брюсов, прочитав свои стихи, мне посвященные. Читал он резким, неприятным и высоким голосом, как-то выкрикивая окончания строк. Но это было своеобразно, очень просто, и, конечно, исполнение его мне понравилось больше, чем замысловатое и пафосное чтение многих весьма именитых актрис и актеров, которого, откровенно говоря, я не выношу. После стихов дирекция кружка пригласила нас к ужину, во время которого мне пришлось быть объектом речей и тостов.

Моей дамой оказалась Софья Исааковна, первая жена Алексея Толстого, упорно уверявшая меня, постоянного петербуржца, что она чуть ли не ежедневно встречается меня в московских трамваях. Возможно, к концу ужина она и уверила меня в этом – теперь уже не помню. Во всяком случае, в Москве я не был перед этим лет девять, в трамваях же и

петербургских ездить тщательно избегал.

Во время ужина В. Я., сидевший напротив меня, встал из-за стола и, подойдя ко мне и нагнувшись к уху, сказал, что две дамы просят разрешения меня поцеловать. Выслушав мое согласие, он провел меня в смежную гостиную, где познакомил меня с Н. Львовой, молодой поэтессой, подававшей большие надежды, вскоре покончившей жизнь самоубийством. Мы обменялись поцелуем с ней и ее спутницей, фамилии которой я не запомнил. Между нами не было сказано ни слова. Это была наша единственная встреча. Я теперь уже не помню лица ее, но у меня осталось впечатление, что Львова не была красивой.

Помню еще в этот вечер разговор Брюсова с Венгеровым по поводу Надсона, двадцатипятилетие со дня смерти которого исполнялось вскоре. В. Я. нападал на Надсона, обвиняя его в том, что его бездарность и безвкусье развратили целое поколение молодых стихотворцев. «Это не заслуга перед родной литературой, а преступление», – горячо доказывал он Венгерову, яростно защищавшему Надсона. Я был согласен с Брюсовым: мой выпад в ямбах против Надсона был только что прочитан в «Эстетике». «Понимаете ли вы, – говорил Венгеров, – что, читая Надсона, чувствуешь только тоску, но и ужас...»

Тогда Б. саркастически ответил:

– Если в темноте меня схватят за горло, я тоже почувствую ужас. Следует ли, однако, что этот ужас художествен-

ного происхождения?..

Брюсов неоднократно давал в «Русской мысли» заметки о моих стихах. Общий тон этих рецензий был более чем благожелательный, и потому, когда появилась его заметка о моей «Златолире», явно, на мой взгляд, несправедливая и недобрая, я, откровенно говоря, очень обиделся и написал ему – нашумевшую в свое время – отповедь в стихах, так больно задевшую его, как это видно из его примечания к большой статье о моем творчестве, написанной специально для сборника Пашуканиса «Критика о творчестве Игоря Северянина».

Конечно, теперь, спустя чуть ли не тринадцать лет когда охладился пыл момента, я вижу, что я несколько погорячился, но в ту пору я не мог поступить иначе, больше всего опасаясь, что мое молчание могло бы быть истолковано как боязнь перед «авторитетом», что для меня, дерзкого в то время «новатора», как называла меня тогда некоторая часть отечественной критики было бы чрезвычайно неудобно...

Несомненно, некоторую долю в возникновении моего «бунтарского» стихотворения еще сыграла одна довольно известная, – увы, только в те годы – актриса, хорошо знавшая Брюсова и предупредившая меня не доверять всем его восторгам и комплиментам. «Берегитесь этого человека, – говорила она, – он жесток, бессердечен, завистлив и никогда ничего не делает без причины, без предвзятости, и, если он теперь хвалит вас и всячески обхаживает вокруг, это значит,

ему так почему-то нужно и выгодно. Когда же для него в вас минет надобность, он начнет со спокойной совестью всячески вредить вам и никогда не простит вам вашего таланта. Он бросит вас, как надоевшую женщину».

И так как я совершенно не знал Брюсова как человека и вдобавок был целиком под чарами говорившей, я и припомнил ее слова, сказанные мне приблизительно за год до моего с Брюсовым конфликта. В результате – стихи, в которых я открыто обвинял В. Я. в зависти. Статья, написанная Брюсовым для сборника Пашуканиса, несмотря на все ее кажущееся беспристрастие и из ряда вон выходящие похвалы, – что же, тем тоньше она, – носит в себе следы глубочайшей, неумело скрытой обиды, и вся она создана под знаком ее.

В 1917 году, в феврале, за две недели до революции, заставшей меня в Харькове, я давал вечер стихов в Баку, возвращаясь из Кутаиса. По городу были расклеены афиши – Брюсов читал ряд лекций. Мне очень хотелось бы его повидать и примириться с ним, но я не знал, как бы сделать это лучше. Мне было известно, как мало в большой России истинных поэтов, поэтому я привык в душе свято чтить их – нас? – с детства. Что земные нелады перед небесным ладом душ наших?

Мы сидели в отдельном кабинете какого-то отеля (вероятно, это был «Бристоль» или «Астория», ибо в каком же уважающем пошлость, другими словами – себя, городе нет гостиницы с такими наименованиями?), мы сидели втроем:

один именитый армянин города, Балкис Савская и я, когда вдруг неожиданно распахнулась дверь и без доклада, даже без стука, быстро вошел улыбающийся Брюсов. До сих пор не знаю, как это произошло и был ли он осведомлен о моем в кабинете присутствии или же он вошел, предполагая найти в комнате, может быть, знакомого ему армянина, но только я поднялся с места, сделал невольно встречный к нему шаг. Этого было достаточно, чтобы мы заключили друг друга в объятия и за рюмкой токайского вина повели вновь оживленную – в этот раз как-то особенно – беседу.

Чудесно начатое знакомство закончилось не менее чудесно, и я все-таки склонен больше верить оставшимся на всю жизнь в моих глазах благожелательным и восторженным последним глазам Брюсова, сердечным интонациям его последнего голоса, головокружительности его последних похвал по моему адресу там, в Баку, чем злостным предостережениям давно переставшей меня чаровать чаровницы, в сущности далекой искусству и его жрецам.

«Беспечно путь свершая...»

В 1911 году я получил от Брюсова письмо, книги и первое стихотворение, себе посвященное:

Строя струны лиры клирной,
Братьев ты собрал на брань!
Плащ алмазный, плащ сапфирный
Сбрось! отбрось свой посох мирный!
В блеске светлого доспеха, в бледно —
медном шлеме встань!

Юных лириков учитель,
Вождь отважно-жадных душ,
Старых граней разрушитель,
Встань пред ратью, предводитель,
Разрушай преграды, грезы, стены тесных
склепов рушь!

Не пьян вызывает пьяный:
Чу! гудит автомобиль.
Мчат, треща, аэропланы
Храбрых в сказочные страны...
В шуме жизни, в вихре века рать
веди, взметая пыль!

Это стихотворение было написано Брюсовым по поводу

провозглашенного мною в России, по примеру Маринетти в Италии, футуризма. В отличие от школы Маринетти я прибавил к этому слову приставку «эго» и в скобках: «вселенский». Спустя несколько месяцев в Москве родился «кубофутур<изм>» (Влад. Маяковский, братья Бурлюки, Велимир Хлебников, А. Крученых и другие). Эти два течения иногда враждовали между собою, иногда объединялись. В одну из таких полос – полос дружбы – я даже совершил турне по Крыму (Симферополь, Севастополь, Керчь) с Вл. Маяковским и Д. Бурлюком.

Лозунгами моего эго-футуризма были:

1. Душа – единственная истина.
2. Самоутверждение личности.
3. Поиски нового без отвергания старого.
4. Осмысленные неологизмы.
5. Смелые образы, эпитеты, ассонансы и диссонансы.
6. Борьба со «стереотипами» и «заставками».
7. Разнообразие метров.

Что же касается московского «кубо», москвичи, как и итальянцы, прежде всего требовали уничтоженья всего старого искусства и сбрасыванья с «парохода современности» (их выражение) Пушкина и других. Затем в своем словотворчестве они достигали зачастую полнейшей нелепости и безвкусицы, в борьбе с канонами эстетики употребляли отвратные и просто неприличные выражения. Кроме того, они и внеш-

ним видом отличались от «эгистов»: ходили в желтых кофтах, красных муаровых фраках и разрисовали свои физиономии кубическими изображениями балерин, птиц и прочих. А. Крученых выступал с морковкой в петлице...

Я люблю протест, но эта форма протеста мне всегда была чуждой, и на этой почве у нас возникли разногласия. Из эгофутур<истов>только один – И. В. Игнатьев – ходил иногда в золотой парчовой блузе с черным бархатным воротником и такими же нарукавниками, но так как это было даже почти красиво и так как лица своего он не раскрашивал, я мог с этим кое-как мириться. «Кубисты» же в своих эксцессах дошли однажды до того, что, давая в Одессе вечер, позолотили кассирше нос, хорошо уплатив ей за это. Надо ли пояснять, что сбор был полный?! Из этого видно, что «кубисты» были отличными психологами...

Однако эти причуды не мешали им быть превосходными, симпатичными людьми и хорошими надежными друзьями. Враждуя в искусстве, мы оставались в жизни в наилучших отношениях, посещая вечера противоположных лагерей и нередко в них участвуя. О Маяковском, Вас. Каменском и Д. Бурлюке у меня остались светлые воспоминания, когда в прошлом году в Берлине, на Unter den Linden, меня остановил возглас Маяковского:

– Или ты, Игорь Васильевич, не узнаешь меня! – я от всего сердца рад был этой встрече: мне нет дела, к какой политической партии принадлежит он теперь, ибо я вижу в нем

только поэта, моего некогда враждовавшего со мною друга, дружественного мне врага. Мы зашли в ресторан и просидели около часа, беседуя об искусстве и предаваясь волнующим нас воспоминаниям. Был в тот день с ним и Б. Пастернак. Спустя несколько дней Маяковский посетил меня вместе с А. Кусиковым, и мы продолжали неоконченный разговор о стихах и чтении стихов. Заходил я к нему в гостиницу, и он угощал меня там «настоящей» русской паюсной икрой и моими же стихами в своем исполнении, что он любит, вообще, делать уже с давних пор.

Однако возвращаясь к Брюсову. Привожу второе его посвящение мне:

И ты стремишься ввысь, где солнце вечно,
Где неизменен гордый сон снегов,
Откуда в дол спадают бесконечно
Ручьи алмазов, струи жемчугов.
Юдоль земная пройдена. Беспечно
Свершай свой путь средь молний и громов.
Ездок отважный! Слушай вихрей рев,
Внимай с улыбкой гневам бури встречной!
Еще грозят зазубрины высот,
Расщелины, где тучи спят. Но вот
Яснеет глубь в уступах синих бора.
Назад не обращай тревожно взора
И с жадной жаждой новой высоты
Неутомимо правь конем, — и скоро
У ног своих весь мир увидишь ты!

Обращаю внимание читателя, что этот сонет с кодою является акростихом.

Наконец, в 1912 г. я познакомился с Федором Кузьмичом Сологубом, представившим меня петербургскому литературному миру на специальном вечере в своем салоне на Разъезжей. Он написал мне восторженный триолет («Восходит новая звезда...») и не менее восторженное предисловие к моей первой книге – «Громокипящий кубок».

Салон Сологуба

1

Когда я познакомился в октябре 1912 года с Сологубом, он жил на Разъезжей улице в бельэтаже, где изредка давал многолюдные вечера, на которых можно было встретить многих видных представителей литературно-театрального Петербурга. Собирались обыкновенно поздно: часам к десяти-одиннадцати и засиживались до четырех-пяти утра. Люди же более близкие, случалось, встречали в столовой, за утренним чаем, и запоздалый зимний рассвет.

Съезжавшиеся гости, раздевшись в просторной передней, входили во вместительный белый зал, несколько церемонно рассаживаясь на его белых же стульях вдоль стен. В одном из углов зала, ближе к столовой, стоял мягкий шелковый диван и такие же кресла вокруг круглого столика. У двери, ведущей в кабинет хозяина, помещался рояль и близ него кожаная кушетка. Одну из стен золотила своим солнечным дождем «Даная» Калмакова, и громадное панно по эскизу Судейкина звучало своим тоном.

Собиравшиеся вполголоса беседовали по группам, хозяин обходил то одну, то другую группу, иногда на мгновение присаживаясь и вставляя, как всегда, значительно несколь-

ко незначительных фраз. Затем все как-то само собой стихало, и поэты и актеры по предложению Сологуба читали стихи. Аплодисменты не были приняты, и поэтому после каждой пьесы возникала подчас несколько томительная пауза. Большей частью читал сам Сологуб и я, иногда – Ахматова, Тэффи, Глебова-Судейкина (стихи Сологуба), Вл. Бестужев-Гиппиус и К. Эрберг. Однажды приехала Т. Л. Щепкина-Куперник, но на просьбу Сологуба и его гостей прочесть что-нибудь, искренне смущенная, отказалась: «Уж какой я поэт, а тем более чтец, – отнекивалась она, – и без меня найдутся здесь, кому читать более к лицу».

Я подошел к ней, разговорился, и мы весь вечер провели вдвоем в кабинете Чеботаревской, поочередно читая друг другу, очень смущенные и разоткровенничавшиеся. У меня осталось об этом вечере прелестное впечатление: сколько уюта и пленительной ласковой интимности было в этой маленькой, глубоко симпатичной и скромной женщине в темном. Она приглашала меня к себе, обещала познакомить с мужем, о котором отзывалась положительно с благоговением. Мне так и не удалось, к сожалению, побывать у нее. Впрочем, одно время мы с нею даже переписывались во время пребывания ее в Италии.

2

Сологуб читал очень просто, четко и всегда, даже в ми-

нуты бодрости, казалось, устало. Я очень любил его колдовской, усмешливый и строгий голос. Но монотонность его интонаций, в особенности под утомительное утро, действовало усыпительно: был случай, когда я однажды уснул под его чтение. Пробудился я от звонко расслышанного под виноградным утомлением шума внезапно наставшей тишины: Федор Кузьмич и два-три засидевшихся более иных близких его дому человека легчайшими улыбками ободряли мое пробуждение.

Около часа ночи подавался ужин, на много кувертов сервированный, всегда очень нарядный и тонкий. Случалось, прислуживали лакеи из модного ресторана. Пили много вина, воцарялось оживление. Сологуб собственноручно подливал в заостренном разговоре быстро пустующие бокалы.

Он любил во время ужина произносить спичи. Блистательными, большей частью ироническими афоризмами изобиловали они. В сером своем, излюбленного мышино-го цвета, костюмчике он вставал с места терпеливо и чуть усмешливо выжидая момента, когда стол, разгоряченный теми винами и вином тем, стихнет. Все взоры обращались на поэта. Гости заранее предвкушали жгучее наслаждение. С бокалом в руке он начинал спич, и вскоре весь стол прыскал от неудержимого смеха или конфузливо опускал глаза. Но спич Федора Кузьмича под новый – 1914-й год – был несколько иного порядка.

Во время ужина писатель ушел к себе в кабинет. Исчез-

новению Сологуба никто не придавал значения: он нередко в разгаре вечера любил уединяться у себя в кабинете. Выходил он оттуда всегда отдохнувшим, набравшимся свежих сил. В рассказываемую ночь он принес только что воспринятое в кабинете стихотворение и, вместо обычного спича, прочел его за столом. Кончалось оно так:

...И ныне, в этой зале шумной,
Во власти смеха и вина,
К Тебе, Отец, в мольбе бездумной
Моя душа обращена.

Упоминание о Боге во время пира показалось всем несколько странным, необычным. Веселие смолкло. В наступившем году началась мировая война, и я думаю, многие из встречавших зарождение того проклятого года в столовой Сологуба с жутью вспоминали его предостерегавшие стихи.

3

Вспоминается мне и тост, провозглашенный однажды Сологубом по поводу романтической истории общественной деятельницы Z. Дело в том, что госпожа Z находилась в связи с одним лицом, и это лицо однажды, неожиданно приехав к ней, застал у нее лицо друга, тоже мужское. Приехавшее лицо произвело в сидевшее летящий выстрел и ранило руку си-

девшего лица. Возник процесс. Слух о происшествии облетел весь город. Затрезвонили колокола и колокольчики газет. По злой иронии судьбы оба лица носили «городские» фамилии: одно – города отечественного, скажем – Грубешева, другое немецкого – назовем его хотя бы Кенигсбергом. Вскоре после этого, выражаясь названием рассказа Вяч. Шишкова, «рокового выстрела» в салоне у Сологуба состоялся очередной вечер. Под конец ужина, на котором присутствовала и госпожа Z, Федор Кузьмич и произнес свой изумительный по остроумию спич, укоряя в нем госпожу Z в отсутствии... патриотизма.

«Не стыдно ли было, – безудержно вопрошал он, – во время войны ездить уважаемой гражданке из русского города Грубешева в неприятельский Кенигсберг?» Эффект превзошел все ожидания: в гомерическом хохоте корчилась не только вся столовая, но и сама пострадавшая, кстати сказать, женщина весьма остроумная и ядовитая, не находя от неожиданного убийственного выпада слов для парирования удара, смеялась, малиново переконфуженная, до слез. Смелость подобного тоста граничила с дерзостью, и только одному неподражаемому Сологубу возможно было его простить.

4

В один из званных вечеров я уединился в турецкой комнате с артисткой N. Мы долго с ней оживленно разговаривали

и договорились в конце концов до бессловесных поцелуев. В разгаре их распахнулась дверь, и муж артистки, человек с большим в искусстве именем, предстал перед нами. Я приподнялся ему навстречу. Взволнованная актриса незаметно потянула меня сзади за фалды сюртука. «Александра (допустим, что ее так звали), пора домой», – произнес он в дверях, мастерски владея собой, и, не дожидаясь жены, быстро вышел из комнаты. Я, мужа, конечно не задерживая, пробовал удержать его жену. «Из этого может получиться слишком громыхательная история, – испуганно прошептала она, сиюсь пошутить и торопливо целуя меня на прощание. – Не провожайте меня, заклинаю Вас». Но все же, пока они одевались, я вместе с хозяевами стоял в дверях передней.

5

Кстати, по поводу «громыхательных» историй. Не все избегали их. Были даже и любительницы таковых. Одна актриса, изредка встречаемая мною в доме Сологуба, совершенно серьезно просила меня в одну из «лирических» минут выстрелить в нее из револьвера, но, разумеется, не попасть в цель. «Это было бы отлично для рекламы», – заискивающе откровенно пояснила она.

Чеботаревская терпеть не могла, между прочим, этой американизированной нашей соотечественницы, принимая ее только из «дипломатических» соображений, и, когда я как-

то вместе с нею приехал к ним, Анастасия Николаевна была более чем холодна с нею, а на другой день формально отказала ей письменно от дома. Оскорбленная и растерявшаяся жрица искусства спешно вызвала меня к себе через рас-сылного и потребовала, чтобы я отправился к Чеботаревской объясняться. «Я в грош не ставлю ее, – плакала престелница, – но мне для карьеры во что бы то ни стало нужно сохранить салон Сологуба».

Требование ее было попросту диким, но, каюсь, я был не совсем к ней, мягко поясняя, равнодушен и только поэтому, скрепя сердце, решил исполнить ее истерическое желание. «Я оберегаю Вас, молодого человека, от разлагающего влияния этой интриганки, – возмущалась Чеботаревская. – Мы с Федором Кузьмичом любим Вас и заботимся. Да и вообще, на каком основании Вы взяли на себя роль парламентария?» Однако я категорически просил ее аннулировать утреннее письмо, на что негодующая Анастасия Николаевна долго упрямо не соглашалась. Целый вечер проговорили мы с ней, и лишь после того как я заявил, что от ее извинения перед госпожой Икс будет зависеть мое дальнейшее с четою Сологубов знакомство, вынуждена была нехотя согласиться. На другое же утро почтальон принес обиженной примирительное (внешне) письмо, в котором Анастасия Николаевна просила извинить ее за горячность.

Вообще, Чеботаревская делила людей на две определенные категории: приемлемых и отторгнутых. В своих симпатиях и антипатиях она оставалась всегда себе верной. Периодическое издание, на страницах коего кто-либо осмеливался когда-нибудь хотя бы чуть неодобрительно отозваться о Сологубе, никогда уже не могло рассчитывать, при наличии данного редактора, на сотрудничество Сологуба. Она за этим следила зорко. Были люди – одни фамилии и имена – которые приводили Анастасию Николаевну в неистовство. Временами, правда, стали намечаться какие-либо точки соприкосновения, Чеботаревская с лихорадочной поспешностью стремилась использовать намечавшиеся возможности, но, едва возникали новые расхождения, она с новым пылом и подчас беспощадной, какою-то клинической резкостью, порывала всякие отношения. В своем боготворении Сологуба, сделав его имя для себя культом, со всею прямою и честностью своей натуры она оберегала и дорогого ей человека и, несравнимое имя его.

Всю жизнь, несмотря на врожденную свою кокетливость, склонность к легкому флирту и болезненную эксцессность, она оставалась безукоризненно верной ему, и в наших духовно обнаженных длительных беседах неоднократно утверждала эта некрасивая, пожалуй даже неприятная, но все же

обаятельная женщина: «Поверьте, я никогда и ни при каких обстоятельствах не могла бы изменить Федору Кузьмичу». И я, не очень-то вообще доверявший женщинам, ей верил безусловно: воистину сама истина чувствовалась в ее словах. Сологуб платил ей тою же монетой и, если на некоторых своих, в кругу ближайших людей, вакхических вечерах и истомлял себя какою-нибудь «утонченной», дальше неги, каждому видной, дело не шло, в такой же «неге» нет измены, как понимают это слово углубленные.

7

На интимных вечерах, когда после ужина гости переходили в зал и рассаживались кто на стульях, кто на диване, кто просто на диванных подушках на полу и пили коньяк и всех цветов радуги ликеры, как-то само собою гасло электричество, и зал погружался в темноту, нервно посмеивающуюся, упоенно перешептывающуюся, истомно вздрагивающую, мягко поцелуйную. Сологуб, любивший неслышную обувь, внезапно поворачивал выключатель, и вспыхнувший свет заставлял каждого в позах, могших возникнуть только без света...

Я должен констатировать, однако, что эти «томные» позы, порою очень непринужденные, нежащиеся и нежные, не выходили все же за грани дозволенного. Я имею в виду, конечно, дозволенного в мире людей искусства, так сказать, в бо-

геме par excellence, ибо богема, например, «Бродячей собаки» уже несколько иной тональности: у Сологуба именитым мужьям не пришлось бы в голову таскать за волосы своих не менее именитых жен, что могло произойти (однажды и произошло!) в знаменитом петербургском литературно-художественном подвале.

8

Общую «рокфорность» интимных сологубовских вечеринок мне хочется заключить и эпизодом о рокфоре. Дарья Михайловна Озаровская и я с ужасом смотрели на этот сыр, готовый, казалось, уползти с тарелки. Ни она, ни я никогда раньше не решались его попробовать, хотя бри или камамбер я всегда очень любил. Федор Кузьмич, посмеиваясь, сделал саморучно для нас два бутерброда, и мы... решились. Одновременно мы откусили по маленькому кусочку булки с «живым» этим сыром, с испугом и отвращением взглянули друг на друга и одновременно же бросились из столовой под веселый смех хозяев. Вернувшись, мы долго еще не могли в себя прийти от «опыта», стараясь сардинками от Кано заглушить вкус проглоченного деликатеса.

А Сологуб в это время, блаженно щурясь и выпятив, по своей привычке, нижнюю губу, пил из узкой длинноногой рюмочки «ликерный ерш», разноцветными пластами в нее мастерски влитый. И смакуя его, предлагал испробовать и

нам. Но проба рокфора была еще так свежа в памяти нашего вкуса, что мы предпочли ограничиться, выражаясь стихом Брюсова, выпустившего книжку «северянизированных» стихов под псевдонимом моей героини Нелли, «маленькою рюмкой triple sec Couantreau...»

9

Кто же бывал у Сологуба на его «открытых» больших вечерах? К. И. Арабажин, Е. И. Аничков, Ю. Н. Верховский, П. Е. Щеголев, присяжный поверенный Н. Переверзев, С. Ю. Судейкин, Д. В. Философов, Вс. Мейерхольд, кн. Шервашидзе, Калмаков, И. Рукавишников, П. П. Потемкин, Е. А. Хованская, Тимме, Тхоржевская, Каратыгин, С. А. Кречетов, Н. А. Тэффи, Э. Озаровский, Тиняков (Одинокий) и многие другие, фамилии которых я умышленно опускаю, и это уж из области вечеров интимных.

Бывали (и помимо приемов) З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковский. Посещали его (но это очень редко) Леонид Андреев, Бальмонт, Блок, Брюсов, Гумилев, но с ними мне там встречаться не приходилось, хотя я и бывал письменно приглашаем каждоразно: то мешала какая-нибудь очередная инфлуэнца, то очередное увлечение, то меня не бывало в столице.

Стоило мне упомянуть о Тимме и Тхоржевской, как возникла перед глазами премьера «Заложников жизни» в Алек-

сандрийском театре. Сологуб пригласил меня на нее в авторскую ложу. Была приглашена и Тэффи. Первая из актрис играла Катю, вторая – Лилит. Пьеса имела у александрийской публики успех средний. Презрительное бесстрашие Сологуба было обычным.

Сологуб в Эстляндии

1

– Буря на море звучит сегодня, как из Римского-Корсакова, – говорит Тию, когда мы проходим с ней вечереющим парком. Колонны его сосен на головокружительном обрыве. Внизу грохочет темная вода.

Я думаю вслух:

– Велик композитор, с музыкой которого можно сравнивать настроение природы. Что же, значит, Садко гостит сегодня у царя нашего моря, влюбленный в какую-нибудь новую – в этот раз финскую или эстийскую – Волхову: бессмертные не постоянны...

– А Сологуб? – грустнеет вдруг от моих слов Тию. – Разве он не бессмертен, и вместе с тем разве не остался он верен всю жизнь одной Анастасии Николаевне?

Я невольно конфужусь от этого напоминания: да, таков Сологуб. Но ведь это такое исключение среди наших бессмертных...

И мы говорим о Сологубе, 1913–1914-е лета проведенном у нас в Тойле на крайней большой даче у кладбища, которую он собирался даже приобрести в собственность. Как сейчас помню, толстяк Мэгар, хозяин дачи, спрашивал с него во-

семь тысяч, Сологуб же давал только пять. Разошлись из-за трех тысяч. Все же несколько яблонек поэт успел посадить перед окном своей рабочей комнаты, специально выписав их из города. Развертывание перед нами в природе подводного царства из «Садко» наталкивает мои мысли на оперу вообще, и я вспоминаю, что Сологуб откровенно признавался мне, что недолюбливает и не понимает музыки, хотя в других ценил и уважал эту любовь и понимание. Так, однажды в Екатеринодаре, зимой 1913 г., давали «Миньону» с какой-то (фамилии не помню) испанкой в заглавной роли. Время приближалось к восьми. Анаст<асия> Никол<аевна> что-то очень долго в этот вечер одевалась, и я начал уже нервничать.

– Так мы и к увертюре опоздаем, – говорил я. И вот Сологуб, не любивший музыку, поддерживал меня.

Кстати, интересный штрих: мы все же в тот вечер успели к началу, когда оркестр только еще рассаживался, но увертюры не услышали: она была выпущена целиком!..

– Так вот и кажется, – мечтает вслух Тию, – что из-за поворота вот той аллеи мелькнет белое платье и яркий пестрый шарф Чеботаревской. Она любила именно этот путь к морю.

– Да, – соглашаюсь я, – это было так. А еще нравилась ей та полевая тропинка, которая идет параллельно морю. Ты помнишь?

– Никогда, никогда не увидим мы ее здесь, – шепчет моя подруга, – и вообще нигде.

...Белая майская ночь. Четырнадцать лет назад. Ляля М., Дора Н. и я возвращаемся с кладбища, куда мы ходили читать изысканные стихи примитивным мертвецам. Весь вечер мы провели в парке – в этом же и точь-в-точь таком же, как и теперь, – лежали на камнях у моря, смеялись, фантазировали, флиртовали, потом, к полночи, забрались на кладбище. Теперь мы идем по деревне, я провожаю своих спутниц, по их дачам.

Светло как днем. За полем совершенно сиреневое море, все сады в распутившейся сирени. Пахнет сиренью, восторгом молодых девичьих лиц, их взволнованной веселой грустью.

– Навстречу Сологубы, – говорит Ляля, – они сегодня приехали из Испании.

Я вздрагиваю и бледнею, как майская ночь: я так виноват перед ними, я так накрапизничал за этот сезон. Судите сами: неожиданно расхотел в Кутаисе продолжать с ними турне, хотя оставался только один Батум, и, несмотря на вес уговоры и ласковые просьбы, умчался в Петербург. Мало этого: спустя несколько месяцев после первой поездки, когда уже афиши с моим именем висели в Двинске и Либаве, я снова что-то разнервничался и не выехал из Петербурга вовсе. Сологуб до самого Двинска был уверен, что я еду в другом ва-

гоне: он сообщил мне заранее о часе отхода поезда и назначил в нем свидание. Из Двинска я получил от него телеграмму-ультиматум: «Если не приедете, больше не знакомы». И оттого, что это был «ультиматум», я и не поехал окончательно...

И вот – навстречу Сологубы!

Как хорошо было бы примириться с ними: ведь я так люблю их. Сердиться на ультиматум, спустя столько времени, да еще в такую сиреневую ночь, да еще в обществе таких расстроенных белизной ночи и упоением сирени девушек – дико. Не Сологубы виноваты передо мною – я перед ними. Только и всецело я.

– Здравствуйте, Анастасия Николаевна! Здравствуйте, Федор Кузьмич! – вдохновенно говорю я, сближаясь с ними.

– Здравствуйте, Игорь Васильевич! – отвечают Сологубы вместе.

Мы останавливаемся. Пока Ляля и Дора разговаривают с Чеботаревской, знакомые с нею давно, Сологуб нежно и иронически смотрит долго в мои глаза.

– Ходите на кладбище, не зная, что там делать, – не отрывая от меня взгляда, говорит он четко-устало, – вот пойду я завтра туда сам, отыщу покойника посвежее, да и высосу его, как и полагается мне, Сологубу...

Я хмрю брови:

– Кому говорите вы это, Федор Кузьмич?

Но он уже скомкал маску своего лица, выбрал в себя иро-

нию и только нежно-нежно, на какую нежность способен только он, мой единственный, вновь неотрывно смотрит в мои глаза.

– Приходите завтра к завтраку, – мягко жмет он мне руку.

3

...Леля приревновала меня к Ляле и хочет топить:

– Если эта противная Лялька еще раз осмелится войти в наш сад, я брошусь вместе с ребенком с обрыва.

В это время скрипит калитка: Дора Н. с мужем и «эта противная (не для меня!) Лялька» входят в сад. Самоубийца ищет ребенка, хватает его на руки... и взбирается на чердак! В испуге я спешу за ней.

– Я передумала: я повешусь на чердаке...

– Ради Бога...

– Это решено...

Я соображаю, что, пока она будет прилаживать веревку, я успею спуститься вниз и как-нибудь объяснить гостям свое отсутствие.

– Куда ты?

– Я сейчас вернусь...

– Помни, я вешаюсь...

– Ради Бога, не надо, – молю я, спускаясь быстро вниз.

Гости сидят в саду на скамейке, не подозревая, что один из них – причина готовящегося самоубийства.

– Где же Е. Я.? – спрашивают они.

– Она кончает с собою посредством удушения, – бесстрастно объясняю я.

...Вечером, когда выясняется, что самоубийство отложено, я иду к Сологубу.

– Спасите меня, Ф. К., от ее ревности, – обращаюсь я к его опыту. Рассказываю все подробно.

– Пусть топится или вешается, – успокаивает он меня, – не препятствуйте. Это, очевидно, ее предназначение. Вы не вправе помешать человеку умереть.

В глазах лукавая усмешка.

4

Профессор Р., запыхавшись, вытирая со лба платком пот, входит ко мне на веранду, висящую над морем. Он только что поднялся по почти отвесной тропинке. Я наливаю ему его любимого светлого пива, он берет большой ломоть ветчины и, жуя, с губами, покрытыми пивной пеной, начинает импровизировать какую-то песенку:

– Под обрывом... у моря... бродят девушки стройные...

Я срываюсь с места:

– Посидите, голубчик, я сейчас вернусь.

– Куда вы?

– Сологуб едет сегодня на два дня в Петербург, я должен передать ему стихи в «Заветы».

Выбегаю через калитку на улицу. Леля, разговаривающая с профессором, провожает меня недоуменными, подозревающими глазами. Вбегаю в чужой – через два от нашего – сад, подбегаю к обрыву и уж действительно почти бросаюсь с него.

Смеющаяся Ляля хлопает в ладоши, не видная сверху, благодаря разросшемуся орешнику...

5

Балкон Сологуба. Завтрак вчетвером: А. Н., Ф. К., ба-рышня-переписчица и я. Стол очень прост: яичница-глазунья, рисовая каша. Для меня водка и кильки. Старый Перник привозит почту на велосипеде. Велосипед перевязан весь веревками и скрипит, как немазанная телега. Он выглядит старше своего хозяина. Сологуб приглашает почтальона к столу отдохнуть и закусить. С низкими поклонами бритый старик с голосом менялы садится почтительно на кончик стула.



ПОЭЗО-ВЕЧЕРЪ
ИГОРЯ

О. ВЕРНИКОВ

Афшиша «поэзо-вечера» 1912 года.

В 1911 году Игорь Северянин вместе с издателем газеты «Петербургский глашатай» Иваном Игнатьевым (Казанским), Константином Олимповым и Граалем Арельским (Стефан Стефанович Петров) основал литературное направление эгофутуризм. Грааль Арельский писал в статье «Эго-поэзия в поэзии»: «Природа создала нас. В своих действиях и поступках мы должны руководствоваться только Ею. Она вложила в нас эгоизм, мы должны развивать его. Эгоизм объединяет всех, потому что все эгоисты».

– Вы, кажется, говорите в таких случаях: *пристлил*, – замечает, обращаясь ко мне, Ф. К. Красивая брюнетка-горничная в белом чепце подает чай.

Анастасия Николаевна проектирует пикник.

– Жаль, что нет маленькой, – говорит она об Ольге Афан<асьевне> Судейкиной, которую очень любит. Впрочем, ее любит и Сологуб, и я. Мне кажется, ее любят все, кто ее знает: это совершенно исключительная по духовной и наружной интересности женщина.

– Надо написать ей, – продолжает А. Н., – она с С<ергеем> Ю<рьевичем> теперь должна быть еще в Удреасе. Отсюда не более двадцати пяти верст.

Мы с Ф. К. поддерживаем ее. На балкон входит проф. Щеголев, известный пушкиновед.

– А мы собираемся ловить раков. Пав<ел> Елис<ееви-

ч>, – обращается к нему А. Н. – Вы с нами?

Добродушный Щеголев – человек компанейский и готов всюду и везде. После завтрака Ф. К. с переписчицей уходят в верхнюю рабочую комнату, где продолжают выполнять ежедневную программу: новые стихи, кусочек романа, кусочек рассказа, четверть действия пьесы, немного перевода с немецкого. Вплоть до обеда. Вид из верхней комнаты на бескрайние поля и леса, в далих синеющие.

Щеголев уходит через дорогу к себе на дачу, мы с А. Н. проходим в ее кабинет. Мне что-то нездоровится. Она пробует мою голову, заставляет лечь на кушетку, заботливо прикрывает меня пледом, велит Елене подать мартель и горячего чая и садится около меня. Начинается бесконечная наша постоянная литературная беседа. У А. Н. чудная память. Она так и сыплет Цитаты из Мэтерлинка, Уайльда и Шнитцлера. Постепенно мы переходим на наших милых современников, и прямолинейная язвительность моей собеседницы доставляет мне не одну минуту истинного – пусть жестокого – наслаждения.

6

Дорога на станцию Иеве.

Расстояние от Тойлы восемь верст. Мы едем вдвоем с Сологубом: он – в Петербург, я – в Веймарн (под Ямбургом). Сплошной лес. Сумерки. Крутой поворот.

– А вот там, у канавки, иногда старушка сидит, – показывает он мне канаву влево, – сидит, серенькая такая, горбатенькая, беззубая. Сидит и похохатывает, знай себе, в сморщенный кулачок: хи-хи да хи-хи. И пальчиком к себе примакивает. Лукавая, знаете, такая старушка. Вы разве не встречали ее? – внезапно оборачивает он ко мне всё лицо. Поблескивают стекла золотых очков жуткой иронией.

– А Передонова вы тоже встречали? – с коварной остринкой вставляю я вопрос в его вопрос.

– Передонов из трех лиц создан, – отчеканивает Сологуб, – один из Вытегры, второй из Вышнего Волочка, третий из Великих Лук. Все они жили-были. И все пакостили по своим силам и способностям.

– Значит, такой мерзавец мыслим, – задумчиво произношу я.

– Не только такой, а и похуже и погуще мыслимы в земной мерзости мерзавцы, – воспламенившись внезапным каким-то негодованьем, выпаливает Сологуб.

– Поднимите воротник: туман не щадит талантов, – мягко, но все еще, видимо, не успокоясь, а потому сердито, добавляет он.

7

Вечерний дождь. На море буря.

– Как из Римского-Корсакова, – сказала бы Тию, если бы

четырнадцать лет назад — одиннадцатилетняя — она сидела бы со мною у Сологуба в гостиной. А. Н. весь вечер играет на рояле из палисандрового дерева, на котором, как говорят местные интеллигентные крестьяне, играл в бытность свою в Риге Рихард Вагнер. Наконец, Лист и Брамс утомляют ее, она сидит минут десять в позе физически и морально уставшего человека и вдруг весело кричит:

— Елена, Катя! Идите, если хотите, танцевать. Дрессированные прислуги не заставляют повторять приглашения. Без излишнего жеманства, но и без фамильярности они вскоре появляются в дверях гостиной и тотчас же начинают кружиться в вальсе, играемом им А. Н. — Малим, как называет ее муж.

Мы с Ф. К., сидя в удобных мягких креслах, мягко хлопаем в ладоши в такт их рас. На лице Сологуба выражение чисто детской доброты и благожелательства к людям.

Эстляндские триолеты Сологуба

1

Федор Сологуб – самый изысканный из русских поэтов. В своем «Соловье» я сказал о нем:

Такой поэт, каких нет больше:
Утонченней, чем тонкий Фет...

Он очень труден в своей внешней прозрачной легкости. Воистину, поэт для немногих. Для профана он попросту скучен. Поймет его ясные стихи всякий – не всякий почувствует их чары, их аллитерационное мастерство. Как раз это отмечает и Брюсов в превосходной статье о Сологубе, помещенной в книге «Далекие и близкие».

«Русский Бодлер», называет его Ю. Айхенвальд, и, действительно, свойственная им обоим «ядность» роднит их. Трудно представить себе, как из такого типичного пролетария, каким был по рождению Сологуб, мог развиться тончайший эстет, истинный гурман в творчестве и жизни. Даже в лице его вы не нашли бы следов его плебейского происхождения. Стоит хотя бы вспомнить редкий по сходству портрет поэта работы Симонова: английский дэнди смотрит

на вас с этого портрета. Я мечтаю когда-нибудь написать специальное исследование о его творчестве. В настоящее время у меня нет большинства из его книг. И достать их затруднительно: «культурный» век дает себя чувствовать – ведь это не ноты песенок Вертинского...

Сегодня же я перечту вслух из его «Очарований земли» исключительно стихи, написанные им в моей Тойле в 1913 году, когда он жил здесь первое лето на даче. Просто стихов мало – все больше триолеты. Перед тем как остановить свой выбор на местечке, где я имею искреннее удовольствие и радость теперь – вот уже вскоре шестнадцать лет – жить, Федор Кузьмич с Анастасией Николаевной Чеботаревской, своей женой, думали обосноваться в «Ливонской Швейцарии» (в нынешней Латвии) – Вендене или Зегевольде.

Они ездили туда весною, осмотрели места, похвалили их, но все же выбрали эстляндскую Тойлу. Леонид Андреев в своих путевых заметках о «Ливонской Швейцарии», воздавая должное красоте природы, говорит, что остзейские немцы испакостили ее... чистотой. Я вполне понимаю, что он хотел этим сказать. Вот и чета Сологубов была неприятно задета этой самой чистотой.

В Тойле имеются все необходимые удобства: безукоризненная почта, аптека, два, еженедельно по разу, в определенные дни приезжающих приличных доктора, струнный и духовой оркестры, два театра, шесть лавок, а за последние годы во многих домах – радио и телефоны. Но здесь вы не

найдете ни удручающей прилизанности и вылощенности, ни «досчечек» (как писал это слово Сологуб) с «Ver-Boten», ни подстриженных газонов – одним словом, всего того, что, вместе взятое, обозначается именно «немецкой чистотой». Здесь нет «русской» грязи, но нет и «немецкой» чистоты.

Тойла – и внешне, и нравственно – просто чистая, очень удобная и очень красивая приморская эстонская деревня, до войны даже нечто вроде курорта, так как тогда были в ней и теплые соленые морские ванны, и лаун-теннисные площадки, и пансионы, два из которых, впрочем, функционируют и до сих пор. На дачи ездили сюда исключительно интеллигентные люди, не толпу, а природу любящие, и не только из Петербурга, а зачастую и из Москвы, и даже с Кавказа. Да и за последние годы многие видные представители эстонского искусства и общественности постоянно летуют здесь. Приезжают семьи и из Риги, и из Берлина. А недавно из Японии и Китая приезжали в гости к знакомым.

Узнав Тойлу, Сологубы поселились в ней и полюбили ее. Я же познакомился с нею еще за год до них – в 1912 году, когда и написал два стихотворения, приехав только на два дня. Однажды мы даже выступали с Ф. К. на литературно-музыкальном вечере в Тойле. До сих пор сохранились об этом афиши.

Уже в те «предвоенные» годы сказывалось в Сологубе утомление:

О, безмерная усталость!
Пой на камнях, на дороге
О любви, о светлом Боге,
И зови, моя усталость,
На людей Господню жалость.

Еще бы было не жалеть их, если они не постигали слов поэта:

С вами я, и это – праздник, потому что я – поэт.
Жизнь поэта – людям праздник, несказанно-сладкий дар.
Смерть поэта – людям горе, разрушительный пожар.
...Или ваша дань поэту – только скучный гонорар?

Но и гонорар-то платили далеко не по заслугам, ибо —

Моей свинцовой нищеты
Не устыжуся я нимало,
Хотя бы глупым называла
За неотвязность нищеты
Меня гораздо чаще ты.

Кто эта «ты» – подруга или родина? Первая едва ли бросила бы подобный упрек любимому; она была для этого слишком умной и деликатной женщиной, да и вообще, нищета – понятие относительное. По тогдашним условиям, Сологуба можно было счесть, пожалуй, богатым человеком. Вот родина скорее могла бы его укорить, сама давая крохи, что он не имеет роскошных вилл в духе – некоторым образом близкого ему – Габриэле Д'Аннунцио...

Недаром поэт горько сетует в своем триолете:

В иных веках, в иной отчизне,
О, если б столько людям я
Дал чародейного питья!
В иных веках, в иной отчизне
Моей трудолюбивой жизни
Дивился б строгий судия.
В иных веках, в иной отчизне
Как нежно славим был бы я!

Но не только в России, где продажная критико-кретинская бездарь, – классическая свинья в апельсинах, – всячески поносила могущественного своего же русского поэта, и вместо того, чтобы гордиться им, глумилась по своему хамскому обыкновению.

И поэт презрительно-спокойно заявлял:

Звенела кованая медь,

Мой щит, холодное презренье,
И на щите девиз: Терпенье.
...И зазвенит она и впредь
В ответ на всякое гоненье.

И добавлял, обращаясь к печали:

Так пой же, пой, моя печаль,
Как жизнь меня тоскою нежит.
Моя душа тверда, как сталь,
Она звенит, блестит и режет.

И, чувствуя, что в сердце своем носит солнце, страстно
вопрошал:

Солнце, которому больно!
Что за нелепая ложь!
Где ты на небе найдешь
Солнце, которому больно?

И глаголил насмешливо-примирительно:

Благослови свиные хари,
Шипенье змей, укусы блох, —
Добру и Злу создатель – Бог.
...Прости устройство всякой твари.

И – подвижнически:

В безумно-осмеянной жизни
Власти не дай укоризне
Страдающий лик отемнить.

И – в мудрой гордости:

Да будут вместо жизни книги
Наградой железных дней.
...Покорен я в железном иге.

Не самоубийством же было, в самом деле, кончать из-за
«свиных харь» критических тварей:

Ты гори, моя свеча,
Вся сгорай ты без остатка, —
Я тебя гасить не стану...

Пленительная лесистая дорога из Тойлы в Иеве влекла его
к себе, и часто, в полном одиночестве, он бродил по ней:

Что может быть лучше дороги лесной
В полуденной, нежно-спасающей мгле!
Свой дух притаился здесь в каждом стволе.

И, созерцая природу, мыслил:

Здесь учиться людям надо, как любить и петь.

Петь, как птичка, потому что —

Сила звонкой песни сотрясает тело птички,
Потому что песня – чарованье переклички,
В трепетаньи звуков воплощенная мечта.

Тем людям учиться надо у птички, у одного из которых
спросил:

Чем же ты живешь?

Возвращался он с прогулки поздно, когда уж

Огонек в лесной избушке
За деревьями мелькнул.

И —

Долина пьет полночный холод
Тоской синеющих высот.

Иногда он взывал к полю и небу:

Земли смарагдовые блюда
И неба голубые чаши,
Раскройте обаянья ваши.

Он умел ценить жизнь:

Тревожный праздник новоселья
Пусть нам дарует каждый день.

И укорял, жизнью не умевших пользоваться:

Рая не знаем, сгорая:
Радость не наша игра...

А радость всегда вокруг нас. Разве же, например, не радость, когда —

*Луна взошла, и дол вздохнул,
Молитвой рос в шатре тяжелом...*

В этот час —

...Сад расцвел
Дыханьем сладким матиол.

Но больше всего радовала и утешала утомленного, плохо оцененного сородичами Федора Кузмича его, Данту подобная, великая любовь к Анастасии Николаевне:

В моем бессилии люби меня.
Один нам путь, и жизнь одна и та же.
Мое безумство манны райской слаже.

Отвергнут я, но ты люби меня.

И —

Здесь верный наш союз несокрушимо вечен.
Он выше суетных, земных, всегдашних дел.
Ты только для меня. Торжественно намечен
В веках наш яркий путь, и светел наш удел.

Так коротал в Тойле поэт свои дни:

Коротаю дни я как-нибудь...

И не клял скромной жизни, малым довольный:

Жизнь влача печальную,
Вовсе не тужу.
У окошка вечером
Тихо посижу,
Проходящим девушкам
Сказку расскажу.

Сказку своей счастливой в любви, но не в славе жизни...
Бедные девушки рыбацкой деревушки, все поголовно владеющие русским языком! Вы и не знали, в чудесной застенчивости своей, какой радости и чести вы лишились — послушать сказку из безгрешных, даже во всех человеческих грехах своих, уст поэта!

Я задумываюсь. Мне глубоко грустно. Перечитанные стихи говорят о жизни, к которой сам я был близко причастен. Она не вернется, милая. Анастасия Николаевна и Федор Кузмич умерли. Они уже умерли. Их нет на земле. Но дача, где они жили, стоит на том же месте, но вместо поэта живет в ней... урядник. Такова ирония жизни. Почти ежедневно по вечерам, проходя мимо, всегда вспоминаю незаменимых людей. Так вот и кажется, что с балкона послышится ее голос:

– Не мешало бы чего-нибудь *подкушать*, Малим, как вы думаете?

И *его* ответ:

– Пожалуй, Малим, – я слегка проголодался.

– Ну вот и отлично. Елена, давайте ужинать.

Страшно шикарно, страшно шикарно, – слышится мне ее смех...

Памяти Ф. Сологуба

В газетах было помещено срочное сообщение из Петербурга о серьезной болезни Федора Сологуба.

Я сказал жене:

– Декабрьская его болезнь опаснее весенней. Она может оказаться смертельной. Ты помнишь его триолет, написанный 4 ноября 1913 г. в Петербурге? – И достав с книжной полки «Очарования земли», я прочел:

Каждый год я болен в декабре.

Не умею я без солнца жить.

Я устал бессонно ворожить.

И склоняюсь к смерти в декабре, —

Зрелый колос, в демонской игре

Дерзко брошенный среди межи.

Тьма меня погубит в декабре.

В декабре я перестану жить.

И он, и я — мы были оба правы... И не первый раз за эти четырнадцать лет я вспомнил эти стихи: каждый раз, когда я перечитывал — а это случалось часто — «Очарования земли», меня жутко тревожило его пророчество.



Итак, Сологуба я больше никогда не увижу. По крайней мере – «здесь, у вас на земле...» То, чего я так боялся и вседневно ожидал, свершилось. Недаром я спрашивал себя в своем «Менестреле»:

...Ужель я больше не увижу
Родного Федор Кузьмича?
Лицо порывно не приближу
К его лицу, любовь шепча?

Тогда к чему ж моя надежда
На встречу после тяжких лет?
Истлей, последняя одежда!
Ты, ветер, замети мой след!

В России тысячи знакомых,
Но мало близких. Тем больней,
Когда они погибли в громах
И молниях проклятых дней...

Никогда не увижу, – ничего не узнаю. И мог бы однажды узнать кое-что, да, видимо, не в судьбе моей было узнать.

Дело в том, что осенью 1921 г. эстонский поэт Генрик Виснапу вез мне из Петербурга письмо от Сологуба, но на

границе письмо это конфисковали, – и что было в нем? Звали Федор Кузьмич меня в Россию, мечтал ли сам из нее выбраться – вечный мрак, и жуть в этом мраке. И уж это до последнего часа моего. А письмо его было ответом на мое, через того же Виснапу переданное, в котором я звал его к себе, предлагая хлопотать о визе. Я знал, как он любит меня: «Милому Игорю Васильевичу Северянину неизменно всем сердцем любящий Его в прошлом, настоящем и будущем Федор Сологуб. 27 июня 1913 г.» – гласит автограф на «Жемчужных светилах». Я знал, как он любит Тойлу, где провел два лета перед самой войной и где даже домик приобрести намеревался. Я знал, какого высокого мнения был он вообще об эстонцах – мирных, трудолюбивых, врожденно-интеллигентных. Я знал, сколько очаровательных стихов воспринял он в Тойле. И, наконец, знал я, что лучше всего, всего вернее может отдохнуть он, усталый, именно в нашей приморской прекрасной деревушке, где он был так полно, так насыщенно счастлив когда-то с Анаст<асией> Никол<аевной>, свою Малим, вторую и последнюю возлюбленную своей! Да, здесь, на чужбине, ибо там, на родине,

Мои томительные дни

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.